

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Владислав Крапивин

КОРАБЛИКИ



Владислав Петрович Крапивин
Кораблики, или «Помоги мне в пути...»
Серия «Школьная библиотека (Детская литература)»

Текст книги предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7255305

Кораблики, или «Помоги мне в пути...» [ил. на переплете А. Борисова]: Дет. лит.; Москва; 2013

ISBN 978-5-08-005110-4

Аннотация

Талантливый музыкант, композитор, руководитель хора мальчиков, и он же – маньяк-убийца... Неизвестно, сколько детских душ загубил бы он за свою жизнь, если бы однажды главный герой романа, ученый, специалист по межпространственному вакууму, вернувшись из длительной командировки, случайно не попал на концерт хора мальчиков и не узнал в солисте себя, двенадцатилетнего.

Для среднего и старшего школьного возраста.

Содержание

Кораблики, или «помоги мне в пути...»	5
Пролог	5
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Владислав Петрович Крапивин
Кораблики, или «Помоги мне в пути...»
Роман-фантазия



В. Крапивин

Кораблики, или «помоги мне в пути...»

Пролог Петька Викулов по прозвищу Патефон

1



Город наш потому, наверно, и называется Старотополь, что здесь много столетних тополей. Других старых деревьев тоже много, но тополей больше всего.

Правда, цвели они в то давнее лето жидковато: в воздухе только редкие пушинки. Зато листва выросла густая. Тесный заросший двор наш в то утро был весь в тени.

Я глянул на двор из-за двери. Тетя Глаша снимала с веревки высохшее белье. Дядя Костя у сарая возился со своим трофейным мотоциклом. На крыльцо они не смотрели. Я кошачьими прыжками достиг приоткрытой калитки, и вот – на свободе. Торопливо дошагал до перекрестка. И прежде чем уйти за угол, оглянулся на деревянный двухэтажный наш дом – пожилой, кособокий, но такой привычный...

Потом я свернул на Гончарную. И почти сразу:

– Эй, Патефон! Куда топаешь? – Это Гришка Гаврилов из нашего класса.

Я сказал неласково:

– На Кудыкины горы воровать помидоры...

Гаврилов был с круглой стриженной головой, полноватый и вроде бы добродушный. Но я его не любил. Помнил, как осенью, когда били Турунчика, он сопел и протискивался без очереди, чтобы ударить поскорее. («А сам-то, – безжалостно сказал я себе, – лучше, что ли, был тогда?») И разозлился на себя и на Гришку.)

Гаврилов улыбался. Он был не очень-то самолюбивый.

– А что это у тебя? – Он пухлым подбородком показал на картонную коробку: я нес ее под мышкой.

– Любопытному Гавриле знаешь что отдавили?
Тогда он все же обиделся. Отошел, сообщил через плечо:

Патефон-скрипучка,
Сбоку в дырке ручка.

И зашагал поскорее.

Я был в классе не из драчливых, даже наоборот. Но будь сейчас у меня свободные руки, показал бы я Гавриле «ручку в дырке»! Последнее время я легко стал «заводиться»...

А впрочем, наплевать. Патефон так Патефон. Теперь-то не все ли равно?...

Эту кличку мне приклеили прошлой весной, когда узнали, что я занимаюсь в Доме пионеров, у Длинной Эльзы. Эльза, чтобы набрать себе в певцы голосистых мальчишек, ходила по школам, сидела на уроках пения, прислушивалась, приглядывалась. Таким образом и меня разглядела.

Вообще-то я петь стеснялся. Но бывало, что, если все кругом поют и песня хорошая, я забывал про смущение и что-то прорезалось в голосе...

В хор я, конечно, вовсе не стремился, но Эльза умела уговаривать. К тому же если занятия – значит, меньше буду сидеть дома под бдительными взглядами тети Глаши...

Да и ребята в хоре были добрее, чем в классе. Без всяких прозвищ тут обходилось, без дразнилок и надоевшего в школе нахрапистого приставания. А со смуглым быстроглазым Валькой Сапегиним стали мы даже друзьями.

И петь мне понравилось.

Эльза как-то обмолвилась, что «когда этот мальчик поет, у него распахивается сердце».

Всякие там сольфеджио и нотную грамоту я терпеть не мог, но строгая седа Эльза почему-то мне это прощала. И все чаще поручала мне быть солистом.

Разные у нас были песни: и пионерские, вроде «Эх, хорошо в стране советской жить», и про недавнюю войну, и «Во поле березонька стояла», и «Веселый ветер»... Многие из них я любил.

А больше всех – «Орленка». Эту песню я начинал один, а хор вступал постепенно. Как запоешь: «Орленок, орленок, взлети выше солнца», так сразу – и печаль, и смелость, и звон такой в душе...

А потом появилась еще одна песня, самая для меня хорошая... Но все это было раньше и осталось позади. Все позади...

Так, размышляя о прошлом, прошагал я всю Гончарную и вышел на Зеленую, одну-сторонку, к берегу городского оврага. Недалеко был завод «Красный химик».

Сквозь бурьян, без тропки, я спустился по склону метров на пять. Татарник цапнул меня колючками за щиколотки, но не сильно, а так, для порядка. Словно предупреждал: «Не будь растяпой, оглянись». И я оглянулся. Но никого не было поблизости, только желтая бабочка летала над чертополохом.

За сорняками виднелась кирпичная кладка. Она выступала из глинистой толщи откоса. Это была невысокая стенка из большущих старинных кирпичей. Я пробрался туда, где стенка отслаивалась от глины. За мертвой чашей прошлогоднего репейника пряталась расщелина. Только-только чтобы протиснуться такому пацану, как я. Со стороны ее трудно было заметить. Я обнаружил это место случайно, еще в апреле, когда в одиночку бродил вдали от дома, обследовал глухие окрестности (вернулся в перемазанном пальто и получил от тети Глаши вздрючку). Теперь, в рубашке-то, пролезть будет легче, да и глина высохла, не мажется.

Я протиснулся в щель. Сразу стало темно, запахло подземельем. Посыпалось за ворот. Но я, прижимая к груди коробку, проталкивался все дальше. И вот ход расширился. Я пошел

вслепую. Нашупывал подошвами сандалий выбоины кирпичного пола. Не боялся. Путь мне был уже знаком. Скоро впереди забрезжило, обозначился во мраке дверной проем, под ногами оказались каменные ступени. Я спустился по ним к воде. Она покрывала пол низкого полукруглого помещения.

Я знал, что нахожусь в церковном подвале и при этом нарушаю закон. Потому что украдкой проник на территорию завода.

Вернее, *под* территорию, но какая разница. Конечно, сейчас на «Красном химике» не та секретность, что в годы войны, когда у завода был номер и делали здесь, по слухам, начинку к снарядам для «катюш». Нынче тут выпускают пластмассовые портсигары, посуду и голопузых кукол. Но все равно по забору тянется проволока-колючка, а у проходной переминается на толстых ногах тетка с наганом. Вот бы знала она, что сюда без пропуска проник нахальный пятиклассник Петька Викулов (к тому же выгнанный из пионеров, значит, вовсе подозрительный)...

Большая кирпичная церковь поднималась над заводским забором, над оврагом, и была видна издалека. Ее колокольню давно разрушили, но высокий купол и угловые башни остались, церковь была все равно красивая, похожая на старинный замок, особенно когда ее освещал закат.

В те дни в ней помещался то ли какой-то цех, то ли склад. Но это – наверху. А про подвал, скорее всего, никто не знал. Не помнил. Я это понимал и о тетке с наганом подумал просто так, мельком.

Сверху в маленькую квадратную дыру, видимо отдушину в фундаменте, проникал рассеянный свет. В подземелье стоял полумрак. Почему-то зеленоватый. Но я хорошо различал бугристые камни подвальных стен: глаза привыкли. Была в этих камнях железная дверь, но замурованная или заржавевшая намертво. А еще невысоко от воды виднелись узкие ниши с полукруглым верхом, похожие на заделанные церковные окна.

К одной такой нише мне и надо было пройти.

Я оставил на верхней ступени сандалии. Размотал на коробке шпагат, отбросил крышку. Достал кораблик. Побаякал его в ладонях...

Он был размером с голубя, легонький такой, мой кораблик. С корпусом из большого куска сосновой коры. Но вовсе не такой, какие весною мастерят ребята, чтобы пускать по лужам. Он у меня был красивый. Паруса не бумажные, а из тонких белых лоскутков. И снасти натянуты как полагается – из суровых ниток и проволоки. И реи, и бушприт – все как у настоящего. И даже штурвал был – из медного колесика от будильника. А на высокой кормовой надстройке я выжег увеличительным стеклом название и завитки узора... Я целые две недели строил его – неторопливо, старательно. И он был похож на те старинные корабли, которые бывают в книжках про давние путешествия...

Воды в подвале было больше, чем в прошлый раз. Тогда она еле закрывала пол, а теперь залила нижнюю ступень. Я осторожно опустил одну ногу, вторую. Встал, потоптался. Ох, просто ледяная! Пошел потихоньку. Раньше я бывал здесь в резиновых сапогах, а сейчас-то... Ну ничего.

Щербатый каменный пол был слегка наклонным. Где-то на десятом шагу вода подбрасывалась к брюкам. Брюки были обычного для того времени ребячьего фасона: из серой материи «елочка», широкие, застегнутые под коленками. Я отпустил кораблик поплавать и растегнул манжеты брюк, чтобы подвернуть штанины повыше. При этом одна пуговица, тугая и вредная, оторвалась и булькнула. Ну и пусть...

Ноги защекотало, зашипало, потом все ощутимее стало покусывать и подергивать. Где-то прохудилась изоляция подземной электропроводки, ток разбежался по воде. Возможно, это было сильное напряжение. Но я терпел его легко и не боялся.

Такой уж я уродился: ток не причинял мне вреда. Мама рассказывала, что однажды застала меня, трехлетнего, сидящим на столе у стоячей лампы с воткнутым в гнездо штепселем. Я снял абажур, вывинтил лампочку и ковырял пальцем в патроне, хихикая от «щекотки». Мама чуть в обморок не грохнулась...

Да и потом, если меня ударило током от плитки или утюга, я только радостно ойкал и смеялся.

Может, я и правда какой-то заколдованный? Недаром на левой лопатке у меня особая метка.

Родимое пятно, похожее на след гусиной лапки, только маленький, размером с пятак.

Когда я был малышом и мама мыла меня в корыте, она всегда приговаривала: «Эх ты, чудо мое керосинное. Сам – Петушок, а лапка гусиная...»

Почему «чудо керосинное», я и сейчас не знаю. Может, для рифмы?...

Еще с десяток шагов, и я добрался до закругленной стены с нишей – как раз когда вода, по-прежнему жутко холодная, охватила колени. Дергать перестало.

Край ниши был на уровне моего подбородка. Я с трудом, но все-таки разглядел доску с маленькими полукружьями жестяного узора. Большого мне и не надо было. Главное, что *она* здесь.

Я поставил кораблик в нишу, на край. Дно у кораблика было плоское, встал он хорошо.

– Вот, это я вам... Принес...

Тихо было, только вода где-то: кап, кап...

Я достал из кармана свечку. Не настоящую, а из круглой батарейки и лампочки. Мог бы и настоящую принести, но такая будет гореть дольше. Может быть, целые сутки...

Крутнул я лампочку в проводочном зажиме, она вспыхнула ярко-ярко, даже зажмурился. Поставил свечку рядом с корабликом. Лампочка высветила всю нишу. Желтый узор металлического кружева на доске заискрился – то ли латунь, то ли позолота. Верхний край этой накладки был зубчатым, лучистым, а нижний образовывал контур двух голов: одна покрупнее, другая маленькая, детская. Больше ничего на деревянной плоскости не было. Но я-то ясно представлял те два печальных лица, которые видел когда-то на маленькой иконе. Она хранилась в сундуке среди заветных маминых вещей. Мама показывала ее мне всего два раза. Говорила тихонько: «Бабушкина». То есть ее бабушки, маминой. Которая умерла еще до революции.

Доставая икону, мама оглядывалась на дверь тети Глашиной комнаты. Тетушка была партийная и принципиальная: увидит – крик поднимет. Потому что ни в какого Бога она не верила. Я, конечно, тоже не верил, но догадывался, что мама верит в глубине души. И поэтому смотрел на икону серьезно и с почтением. Даже с родственным каким-то чувством. Мы на нее вдвоем с мамой смотрели, прижимаясь друг к другу плечами. А на иконе маленький сын тоже прижимался к материнскому плечу. И оба они глядели на меня и маму так, словно всё знали про нас. И жалели...

Одежда на иконе была не нарисована, а сделана из металла, как бы отчеканена. И лучистое окружение голов – тоже металлическое, золотистое. Мама говорила, что все это называется «оклад»...

Такой вот оклад, вернее его верхняя часть, и блестел сейчас на доске. А лица я видел мысленно. И я сказал опять:

– Это вам... Я сам сделал.

Мне казалось, что тем, к кому я обращался, должен понравиться кораблик. Ведь я так старался...

– Ну вот... а теперь я пойду. Ладно?

Что еще сказать, я не знал. Молиться и просить не умел. Да и не имел права, наверно...

А может быть, все-таки попросить? Как юнга Джим перед уходом в плавание... Но не петь же здесь! Наверху кто-нибудь может услышать через отдушину мой голос. Да и в горле скребло неизвестно отчего. Скорее всего, от холода. Но мелодия уже толкнулась в голове, и слова побежали сами собой. Конечно, я не запел, а зашептал, еле двигая губами. Но внутри у меня все равно звучала песня. И я не шелохнулся, пока не шепнул последние слова:

– ... Помоги, помоги мне в пути...

И тогда – словно ответ такой – в подвале посветлело. Это сквозь наклонную отдушину упал сюда солнечный луч. Прямо на меня. Я вскинул глаза и увидел в крошечном оконце край ослепительного диска.

Солнечное тепло толчком прогнало из меня озноб. Я заулыбался. Но... так уж я был устроен: вместе с хорошим приходит осторожная мысль о печальном. Я сразу вспомнил, что вижу солнце *не то, которое на самом деле*.

Я был книгочей по природе. Прочитывал все книжки, какие попадали под руку, в том числе и всякие научно-популярные... У старшеклассницы Насти, что жила в нашем доме, я увидел как-то «Занимательную астрономию». Выпросил. Осил. Во многом не разобрался, потому что был тогда всего-навсего второкласником, но кое-что понял. Уяснил, например, что у света есть, оказывается, своя скорость. Луч пробегает за секунду почти триста тысяч километров. Конечно, на Земле это не имеет значения, а вот сияние Луны долетает до нас уже за вполне заметный, хотя и крошечный отрезок времени – за секунду с хвостиком. Ну это, по правде говоря, пустяк. А вот Солнце... Его мы, оказывается, видим не тем, какое оно в этот миг, а такое, каким было восемь минут назад!

«И что же это получается?! – ахнул я про себя. – Значит, если оно вдруг погасло, мы еще целых восемь минут не будем знать про это?!»

То, что Солнце может когда-нибудь погаснуть, я прекрасно понимал. Но сам по себе этот факт меня почему-то мало тревожил. А вот то, что я не узнаю про это вовремя, меня перепугало и опечалило. Целый день я ходил потерянный и будто виноватый, а вечером не выдержал, поделился с мамой. Мама посадила меня рядом на кровать, оглянулась опять на тети Глашину дверь и погладила мою стриженую макушку. И не стала утешать и успокаивать, а сказала:

– Знаешь, Петушок, это похоже на письма с фронта. Бывает, что придет письмо, родные радуются весточке – живой, мол, – а человека уже нет. Письма-то шли неделями, а то и месяцами...

И мы стали думать об отце. Вернее, мама об отце, а я – о его письмах, потому что самого отца не помнил: его взяли в армию еще до войны, когда мне и года не было. Говорили, что ненадолго, на сборы какие-то, да так он и не вернулся.

Отцовские письма хранила мама там же, где икону, – в окованном жестью небольшом прабабушкином сундуке. Иногда показывала мне. Одни – в конвертах, другие – свернутые треугольниками, по-фронтовому. Последнее письмо пришло в апреле сорок пятого, из Германии. Мама говорила, что штабная машина с отцом подорвалась на mine.

Лишь недавно я узнал, что было еще письмо. Уже после войны, в сорок шестом. Узнал, когда искал в сундуке икону, чтобы примерить к ней найденный жестяной нимб от оклада.

2

Эти находки столько перетряхнули в моей жизни!

... После Праздника Победы Клавдия Георгиевна, которая была у нас в школе сразу и вожатой и учительницей в начальных классах, сказала:

– Будет субботник по сбору цветного металлолома. – И объяснила, что заводам страны сейчас необходимы цветные металлы, чтобы ударно завершить первую послевоенную пятилетку.

Все сразу загалдели:

– А примус дырявый можно принести?

– А ступку медную?

– А самовар?

– А у нас подсвечник есть поломанный! Годится?

Клавдия Георгиевна взялась за виски:

– Годится, все годится! Не орите только так, и без того голова гудит...

Конечно, ей хватало гвалта у своих третьеклассников, а тут еще пионерская работа...

Ким Блескунов, наш председатель совета отряда, по-командирски прищурился:

– Когда Петру Первому понадобилась для пушек медь, он велел со всех церквей колокола снять. Вот бы нам... В них весу по сто пудов.

Клавдия сказала, что Блескунов молодец. Только сейчас медь нужна не для пушек, а для мирных машин. Кроме того, колокола советская власть снимала с церковей давным-давно, так что нам придется ползти по городским закоулкам, поискать всякую всячину...

Это лишь так называлось – субботник, а искали металл мы целую неделю. Чтобы победить в соревновании вечных соперников, пятый «Б», Кимка никому не давал спуска. Как прищурится, как зашипит: «Тебе что, на коллектив наплевать, да?» Впрочем, не было таких, кому наплевать, все старались. И даже Турунчик. Он, видимо, давно забыл, как его били осенью, тот же самый коллектив...

Цветной металлолом – это ведь не железо и не чугун, доставался он нам с большим трудом и в малых количествах. И вот мы вчетвером – Юрка Нохрин, Игорь Копытов, Турунчик и я – решили обследовать склон высокого речного берега у Лодочной слободы. Дома там были старинные, стояли над самым откосом, хозяйки прямо вниз, в бурьян сбрасывали ненужную рухлядь.

Повезло нам! Лазая в ломких прошлогодних сорняках, мы отыскали два расплюснутых самовара, тяжелый обломок бронзовой люстры с завитками, медное коромысло старинных весов и мятый продырявленный таз для варенья... А потом, откинув рваную грелку и гнилой сапог, я и увидел это. Мятый клочок узорчатой жести. Он был темный, бесформенный, но я почти сразу догадался, *что* это такое.

Я поднял, расправил. Получилась как бы фигурная буква «З». Она щетинилась мятыми зубчиками-лучами. Я разогнул их. Потер букву о вельветовую курточку. Потом испугался чего-то, стал сворачивать жость в трубку. Старался, чтобы никто не увидел.

Но Юрка Нохрин сунул из-за моего плеча свой лисий нос:

– Это у тебя чё?

– Это у меня «ничё»... – Я затолкал скрученную жость в карман (она цеплялась, царапалась).

– Ну покажи-и-ы... – заныл Нохря. – Я же все равно видел. Это церковная штука...

– Тебе-то что? – Я отступил, чуть не покатился с откоса.

Пробрались через бурьян к нам Игорь Копытов и Турунчик. Нохря заявил:

– Патефон штучку нашел, медную, в карман затырил!

– Тебе-то что?! – опять крикнул я.

– А вот то! Она казенная! Мы для школы металл ищем, а не для себя!

– Металл! В ней весу-то три грамма!

– А хоть сколько! Ты, Патефон, не имеешь права! Мы на субботнике, а ты в карман... – Это Копытов Нохрю поддержал. Они всегда вместе... Какое сознательное Копыто! Забыл

уже, как в раздевалке из чужого кармана стянул трешку и как ревел потом на классном собрании...

Я красиво, с особым изгибом руки, показал Нохре и Копыту дулю. Потому что теперь стоял на откосе прочнее, чем они, и в случае чего... А Турунчик мигал белыми ресницами и не знал, чью сторону принять.

– Поимеешь, Патефон, – сказал Нохря.

Я поднял из бурьяна раздавленный самовар, недавнюю свою добычу, отступил в репейники и стал продираться наверх.

– В школе поговорим! – пообещал вслед Копытов. – Ответишь перед отрядом!

Но я был не дурак и, прежде чем отнести самовар на школьный двор, забежал домой, спрятал свою жестяную находку в сарае. На тот случай, если вздумают обыскивать. Кимка Блескунов – он такой, все может...

К школе я вернулся после всех. Кинул самовар в груды медной рухляди. И тут ко мне подступили. Впереди всех – Кимка.

– Ты, Викулов, говорят, какой-то металл прихватил для личного пользования... – Голову наклонил и прищурился. Красивый такой, причесанный, с белым воротничком. Красный галстук – из шелка.

– Три грамма... – бормотнул я. – Это... для коллекции. Потому что старина...

– Хоть какая старина, не имеешь права без общего разрешения! Давай сюда!

Раскомандовался! Наверно, у папочки научился, который замначальника городской милиции.

– Чего ты тут мне приказываешь! Генерал какой... – Это я уже напропалую. Понимал, что все равно не избежать скандала.

– Не хочешь по-хорошему?... Отряд, слушай мою команду!..

Ох, не любил я драться! Боялся, по правде говоря. К тому же стояло вокруг меня человек семь. Конечно, не отряд, но уж не меньше чем звено. И казалось бы, пусть хватают, обыскивают, все равно без толку. Но бывали моменты, когда злость у меня перехлестывала через страх.

Недавно на школьном дворе срезали с тополей сучья. Они и сейчас валялись под деревьями. Я отпрыгнул, ухватил корявый, с себя ростом сук, прижался к тополиному стволу. Замахнулся:

– Только подойдите!

– Что такое тут у вас?! – Это появилась Клавдия.

Все втянули головы, заморгали, засопели, только Блескунов не растерялся. Встал как на дружинной линейке, подбородок задрал и будто рапорт отдал:

– Товарищ старшая вожатая! Мы для общего дела собирали металл, а Викулов одну свою находку присвоил! Для личного интереса! И, наверно, успел унести домой!

– Для какого интереса? Что за находка?

– Кусок от иконы. Он, наверно, в Боженьку верит, молиться будет...

– Еще новости! Викулов, это правда?... Брось палку!

Я опустил, но не бросил.

Клавдия велела:

– Завтра принеси, что нашел. А то... слышишь, какие глупости про тебя рассказывают!

Ага, «принеси»! Тороплюсь! Как у нас в Старотополе говорят: «Сейчас побегу, только большие калоши надену»...

Дома я украдкой взял зубной порошок, разогнул, расправил темное жестяное кружево и щеткой стал отчищать его. И скоро оно золотисто заблестело. Кое-где остались, правда, черные пятна окиси, но все равно стало красиво. И я опять подумал: «Как на маминой иконе». И решил, что надо посмотреть, сравнить.

Мне повезло в тот вечер: тетя Глаша и дядя Костя ушли к знакомым. Тяжелый ключ от сундука был спрятан за стопкой тарелок в буфете (считалось, что я этого не знаю). Я отпер скрипучий замок, отвалил крышку. Постоял, вдыхая знакомый запах. Из сундука всегда почему-то пахло ванилью, как от праздничного теста. И когда мы с мамой сундук открывали, и сейчас тоже...

Икону я не нашел. Все остальное было на месте: и прабабушкино белое платье, и синяя старинная чашка с отбитой ручкой, и малиновая плюшевая скатерть, и расколотый письменный прибор из серого мрамора, и всякие другие вещи из давних, довоенных лет. И пачка отцовских писем... А икона как растаяла. Наверно, тетя Глаша перепрятала куда подальше, а то и совсем выбросила. Небось решила: увидит случайно кто-нибудь посторонний – будут неприятности. Работала тетушка в городском архиве и почему-то всегда боялась неприятностей «по партийной линии».

Я потерянно сидел на краю сундука. Затем стал рассеянно перебирать отцовские письма.

И заметил письмо, которого раньше не видел. Или не обращал внимания? Нет, я бы запомнил голубую красивую марку. На ней – салют над Кремлем и слова: «9 Мая».

Да, но... напечатать эту марку раньше Дня Победы не могли, верно ведь? А почерк-то отцовский! Я пригляделся к штемпелю: 18.04.46... Тихо-тихо стало вокруг, даже часы-ходики будто замерли... Обратный адрес: «Моск. обл., г. Дмитров, Садовая, 3...» Я вытащил листок. Письмо было короткое. Все уже не помню, а главные слова такие: «Конечно, я виноват перед тобой и перед Петей. Но ты все-таки напиши про него хотя бы две строчки. Сын ведь. Имею же я право знать про него...»

Вот, значит, как. Ну что же...

Особого потрясения тогда я не испытал. Первое волнение быстро прошло, я сунул письмо в карман и начал рассуждать здраво.

Значит, отец не погиб, а просто не захотел вернуться домой. Скорее всего, «встретил другую». Мы, мальчишки послевоенных лет, были наслышаны про такие истории. Мама, видимо, погоревала, а потом решила, что пускай считается убитым. С глаз долой – из сердца вон. И для сына, то есть для меня, так спокойнее. Лучше погибший герой, чем бросивший семью беглец... Маму я не осуждал: она, наверно, правильно поступила. Отца я не помнил, никакой тоски по нему у меня никогда не было. Сейчас я обрадовался, конечно, что отец живой, но радость эта была, признаться, хмурая и расчетливая. Наверно, как у окруженного врагами бойца, который вдруг нашел в кармане еще одну обойму.

А окруженным себя я тогда очень даже чувствовал. С одной стороны – вечные тети Глашины придирки, с другой – нынешняя история на субботнике. Хорошо, если до завтра забудут. Но едва ли. Блескунов – он принципиальный, вроде тети Глаши...

И конечно же назавтра Блескунов подступил ко мне еще до уроков:

– Ну? Принес?

– Иди ты... – неохотно сказал я.

Он сразу вытянулся, губки поджал. Весь такой показательный активист в вельветовом костюмчике.

– Нет, Викулов, это ты иди. Домой, сразу после уроков. И неси то, что украл. А то будет хуже...

– Я? Украл?!

Тут затренькал звонок.

На переменах меня не трогали, но после пятого урока Кимка подошел опять. С двумя звеньевыми: с Генкой Бродиным и толстым Бусей. И с Нохрей.

– Ну? Мы будем ждать полчаса. Иди.

– Ага. В больших калошах...

– Хуже будет, – опять пообещал Ким.

– Ну, беги, жалуйся! И так уже наябедничал Клавдии! Осенью всех подговорил бить Турунчика за то, что ябеда, а сам...

Кимка сказал наставительно:

– Тогда было наше дело, среди пацанов. А сейчас общественное. Ты против пионерского отряда идешь, значит, ты против советской власти.

Тут я ему и вделал! По носу! Даже для себя неожиданно. Рука будто сама размахнулась – и хряп! И закапало у него на вельвет шоколадного цвета... Кимка пискнул, быстро сел за парту, уткнулся лицом в ладони... И вокруг, конечно, шум, крик. Неизвестно откуда – Клавдия Георгиевна и наша Анна Игоревна... В общем гвалте и в хлюпающих словах Кимки выяснилось, что Патефон, то есть Петька Викулов, против целого коллектива. Украл часть медной добычи, потому что тайно верит в Бога, хотя и «Торжественное обещание» давал. Да еще руки распускает...

Клавдия сказала.

– Это уже переходит всякие границы!.. Ты что, Викулов, правда верующий?

– А вам-то что?...

Я вполне мог ответить «нет». Потому что был вовсе не верующий. Но она хотела, чтобы я отказался от того, что любила мама. Пусть этот оклад не с маминой иконы, но такой же. Тем более теперь, когда той иконы нет... Сейчас у меня будто ниточка между мной и мамой, а если уступлю, отдам... Но разве им объяснишь! Стоят, сопят, ждут. Как тогда, вокруг Турунчика... Только сам он, Турунчик, поодаль и глаза опустил...

– Еще и кулакам волю дает! – возмущалась Анна Игоревна. – Да ты и одного пальчика Блескунова не стоишь! Его в классе уважают, а ты...

– Завтра сбор! – заявила Клавдия. – И ты, Викулов, готовься просить прощения у всех ребят. И не забудь принести то, что... взял. Если не хочешь расстаться с красным галстуком.

Я, конечно, не хотел расстаться с галстуком. Даже подумать о таком было жутко. И я шел домой почти уверенный, что завтра отнесу в школу кусочек золотистой жести – пропади все пропадом! Но дома взял его в ладони и... в обрамлении лучистого кружева словно увидел два печальных лица с понимающими и жалеющими глазами. «Что поделаешь, раз кончилась твоя храбрость, Петушок...»

Тогда, значит, уже нельзя будет вспоминать по-хорошему, как мы с мамой сидели рядом и я щекой лежал на ее плече...

В сарае нашел я широкую толстую доску, с трудом отпилил ножовкой кусок сантиметров тридцать длиной. Наждачной бумагой почистил одну сторону. Наложил на дерево жестяной нимб, расправил, прибил по краешкам сапожными гвоздиками... Не икона, но все же намеки на нее.

– Никому не отдам. Честное орлёнское...

Это у меня для самого себя была такая клятва. Я придумал ее, когда влюбился в песню про Орленка.

И чтобы отрезать путь для отступления, отнес я доску в тот самый церковный подвал. Фонарика у меня не было, лазил со спичками. Поставил доску в нишу, посветил спичкой последний раз.

– Вот, здесь вам будет хорошо. Потому что ведь церковь... И никто не найдет. А я еще приду...

На следующий день у меня отобрали галстук.

За то, что ничего не объяснял, не отвечал, верю ли в Бога. Молчал как каменный. И украденную вещь не принес, и прощения не стал просить – ни у Блескунова, ни у коллектива. Что с таким делать?

– Сам виноват, – сказала Клавдия Георгиевна. – Кто «за»?... А ты, Турунов, разве не «за»? Умнее всех, да?

Турунчик тоже поднял руку, только смотрел при этом в парту. Впрочем, не он один смотрел в парту. Это я сквозь намокшие ресницы видел от классной доски, куда был вызван для обсуждения и покаяния.

Клавдия развязала на мне галстук. Я не сопротивлялся. Не от страха, а просто ослабел. Но когда она хотела спрятать мой старенький, но все равно блестящий сатиновый галстук в свою черную с бисером сумочку, я сказал сквозь царапанье в горле:

– Не имеете права, это мой. Мне мама покупала...

– Ну и забирай, пожалуйста! А носить не смей!

Домой вернулся я с ощущением безнадежной беды. Как приговоренный. То, что клятву я не нарушил, *главное* не отдал, слегка грело душу. Но беда все равно давила тяжело. Кто я теперь? Все равно что враг народа, белогвардеец какой-то...

Я скорчился на чурбаке за сараем и сидел не знаю сколько. Там и нашел меня Валька Сапегин. Забежал, чтобы вместе идти на репетицию хора. Я похоронно сказал, что не пойду.

Он спросил тихонько:

– Что случилось-то?

И тут я разревелся. И рассказал ему про все. Не такой уж он был близкий друг, но все же единственный, кому я мог излить горе. Про находку я, правда, не сказал, а объяснил, что выгнали за драку.

Какой теперь хор! Как я выйду на сцену! Все в галстуках, а я... И как петь про Орленка, если не имеешь права на кусочек знамени, под которым он, Орленок, воевал?... И наверно, Эльза и сама не захочет меня близко подпускать, когда узнает про все.

Валька потоптался рядом, подержал меня за плечо и ушел тихонько. Ласковый он был и понятливый...

3

На следующее утро, собираясь в школу, галстук я надел. Чтобы тетушка ни о чем не догадалась. А за квартал от школы снял, стыдливо оглядываясь. В классе от меня отворачивались, но не враждебно, а скорее виновато.

Вечером выяснилось, что хитрил я с галстуком напрасно: тетя Глаша все узнала. Анна Игоревна позвонила ей на работу. Ох и устроила мне тетушка!

Дядя Костя даже сказал:

– Ну чего ты орешь на пацана! Чего он такого сделал-то?

Он хороший был дядька. Иногда катал на мотоцикле, а в воспитание мое не вмешивался. Тетушка наорала и на него, он плюнул и пошел на двор курить с соседом дядей Геней, отцом десятиклассницы Насти. А тетушка принялась за меня снова. Она была мамина сестра, но ничуть на маму не похожая. Старая, всегда всем недовольная. А главное – недовольная мной. Вот и сейчас:

– Лучше бы уж воровал! А то ведь надо же, в богомольцы наострился! Мне что на работе-то скажут, когда узнают!

Я не выдержал:

– Там что, все такие дураки?

Она дала мне затрещину и заявила, что терпенье у нее кончилось. Как только начнутся каникулы, она станет оформлять мои документы для детдома.

Я следом за дядей Костей ушел на двор.

Как ни странно, а после такой встряски я чувствовал себя легче, словно сбросил часть груза. И даже последние слова тетюшки меня на этот раз не испугали. В детдом? А уж вот фиг вам, Глафира Герасимовна! В кармане у меня лежало письмо с адресом в городе Дмитрове...

Я опять устроился на чурбаке и начал выстругивать из сосновой коры суденышко. И успокоился. Я всегда успокаивался, если выстругивал кораблики... И то, что случилось недавно, уже не казалось теперь таким ужасным. Всякая беда со временем слабеет. Когда случилось несчастье с мамой, я думал, что конец света, но прошла неделя, потом месяц прошел, потом год, и вот живу...

Здесь, за сараем, и нашла меня Длинная Эльза.

Эльза Оттовна Траубе появилась в Старотополе в сорок первом году. Не по своей воле. До той поры она жила в Москве. Когда началась война, всех людей, у кого немецкая национальность (пускай хоть они Германии в глаза не видели и даже их дедушки-бабушки родились в России) стали выселять из столицы. Взрослые говорили, что Эльзе еще повезло. Многие отправляли в подневольную трудармию, а кое-кого и «за проволоку».

Не знаю, как жила и что делала Эльза Оттовна в годы войны. А в сорок шестом она стала работать в городском Доме пионеров. Музыкантшей. Муж ее тоже был музыкант и даже композитор, только незначительный. Говорят, сочинял музыку для детских спектаклей. Но он умер еще до войны. Были у них дети или нет, я не знаю, в Старотополе Эльза Оттовна жила одна-одинешенька. И все свое время отдавала работе.

Главным ее делом был мальчишечий хор. Девчонок она почему-то не жаловала, говорила, что не находит с ними общего языка. А с пацанами она ладила, хотя и строгая бывала на репетициях. Ребята за глаза называли ее Длинная Эльза и Фрау Труба, но относились к ней хорошо.

Иногда Эльза Оттовна собирала нас в своей тесной комнатке с железной солдатской койкой и обшарпанным пианино. Не всех сразу, конечно, а человек по пять – семь. И надо сказать, меня звала чаще других. Поила нас чаем и заодно учила вести себя за столом. Рассказывала, как до революции была гимназисткой, а потом училась в консерватории, как ходила на выступления настоящего, живого Маяковского. И как вместе с мужем готовила музыку для детского театра.

Однажды Эльза Оттовна рассказала, что муж ее сочинял оперетту «Остров сокровищ». Там все было не так, как в книжке или кино. Билли Бонс в оперетте оказывался вовсе не злодеем, а хорошим дядькой, он сам подарил мальчишке Джиму карту с кладом на острове. Среди пиратов невесть откуда появилась жизнерадостная старая негритянка, которая с Джимом подружилась, а коварному Сильверу надавала пинков. А сокровищ никто не нашел, но все равно все кончалось хорошо, потому что главное в жизни вовсе не богатство, а дружба... Жаль только, что дописать оперетту муж Эльзы Оттовны не успел – умер.

– А вы сами допишите, – посоветовал Валька Сапегин.

Эльза Оттовна грустно улыбнулась:

– Приходит порой такая мысль. Если бы еще талант...

Мы наперебой стали убеждать Эльзу, что таланта у нее на десять оперетт. Она тряхнула короткими седыми волосами, села к пианино.

– Вот такая там была песенка:

Да здравствует остров зеленый,
Лежащий за черною бурей,

Вдали, за семью морями,
За искрами южных созвездий!
Да здравствует смех и дорога,
Да здравствует море и дружба!
Да здравствует все, что не купишь
На черное золото Флинта!..

Голос у нее был слабенький, дребезжащий, но все равно хорошо получилось. И мы захлопали.

Я, наверно, хлопал дольше других, потому что Эльза Оттовна вдруг пристальноглянула на меня (я, конечно, застеснялся, глаза в пол) и вдруг сказала.

– Оперетта веселая, но есть в ней одна песня... такая... очень, по-моему, тебе понравится...

Вот новости. Почему именно мне?

Эльза Оттовна заиграла было, остановилась и объяснила:

– Это юнга Джим поет перед тем, как уплыть к острову. Прощание... – И заиграла опять, запела:

С нашим домом сегодня прощаюсь я очень надолго.
Я уйду на заре, и меня не дозваться с утра...
Слышишь, бакен-ревун на мели воет голосом волка?
Это ветер пошел... Помоги мне осилить мой страх.
Я боюсь, ты меня
Не простишь за уход, за обман.
На коленях молю:
Не брани, пожалей и прости.
Разве я виноват
В том, что создал Господь океан
И на острове дальнем
Клинками скрестились пути...

Я молю, помоги мне в пути моем, бурном и длинном,
Не оставь меня в мыслях, молитвах и в сердце своем,
Чтобы мог я вернуться когда-нибудь в край тополиный,
В наш родной городок, в наш старинный разошедшийся дом...

Жидкий старческий голос Эльзы окреп. Или мне это просто показалось. Но когда она закончила песню, чудилось, что спел ее мальчишка.

Теперь никто не хлопал. Слишком серьезно все это было. И Эльза поняла нас. И спросила тихонько:

– Я вот думаю... Может быть, подготовить это для нашего хора?

Конечно, все наперебой заговорили, что надо готовить. И на меня смотреть начали... ну, с пониманием, что ли. Ясно ведь было, что главным-то образом эта песня для меня, для солиста.

Стали репетировать. По-моему, здорово получалось. Я полюбил «Песню Джима» даже больше, чем «Орленка». Порой слёзы внутри закипали, когда на самых высоких и ясных нотах выдавал: «Я молю, помоги мне в пути...» Но петь эти слезы не мешали, только я чувствовал, какой от них в голосе звон...

Правда, перед первым выступлением чуть все не сорвалось. Директору Дома пионеров или кому-то в гороно пришло в голову, что это молитва. Мол, мальчик поет перед иконой, просит защиты у Богоматери, а это религиозная пропаганда. Но Эльза Оттовна умела быть упрямой и бесстрашной. Доказала начальникам, что юнга Джим поет у кровати своей мамы перед тем, как тайком уйти на шхуну. Недаром ведь: «Я боюсь, ты меня не простишь за уход, за обман...»

В конце концов песню разрешили. Только потребовали слово «молю» заменить на «прошу», а вместо «создал Господь океан» петь «есть на Земле океан». «Прошу» вместо «молю» петь было плохо, слова переучивать некогда, все равно случайно я спою по-старому. Так что оставили все как было, тем более что прежнего директора прогнали за пьянство, а новому было не до нас.

Мы много раз исполняли «Песню Джима» на концертах. И всегда нам хлопали так, что просто гул в ушах. Иногда приходилось петь даже снова, на бис.

Но это было давно, в прошлой жизни. В ту пору, когда я был нормальный человек, с красным галстуком.

Эльза Оттовна остановилась рядом. Я вскинул глаза, сказал тихонько: «Здрасте». И снова стал обстругивать кусок коры. Эльза Оттовна в своей длинной черной юбке со складками безбоязненно села на пыльные деревянные козла – они стояли тут же, за сараем.

– Валя мне все рассказал...

Я дернул плечом. Не было у меня причины сердиться на Эльзу, но я защищался от ее сочувствия. Впрочем, скользнул в голове и упрек: «Чем сюда приходить, пошла бы в школу да заступилась...»

Она словно услышала мою мысль.

– Я была в школе. Пыталась объяснить, как все это... неумно. Но, к сожалению, не получилось... Знаешь, я никогда не умела разговаривать с учительницами. Еще со времен гимназии...

Я опять шевельнул плечом: что, мол, тут поделаешь...

Эльза сказала осторожно:

– Но я, Петя, не понимаю главного. При чем тут хор? Ведь у нас-то никто тебя не обижал...

Глаза у меня уже набухли, но я опять на миг глянул Эльзе в лицо:

– Как же не понимаете? Все в галстуках, а я...

– Мне кажется, что это все же не главное. Главное, как ты поешь.

В самом деле до нее не доходит, что ли? Вот стоит на сцене в три ряда хор, на каждом красный галстук, а я впереди – с голым воротом. И все видят. И все знают. И я как... приговоренный какой-то. Как Турунчик тогда... И хотя бы причина была! А то ведь ни за что!

– Ну ладно... – вздохнула Эльза. – А... что ты мастеришь тут?

Я сказал опять полупшепотом:

– Кораблик.

– Понятно. А какой именно кораблик? – Ей, видимо, важно было продолжать разговор. Хоть о чем, лишь бы не молчать. – Бывают ведь всякие... фрегаты, шхуны...

Я ответил суховато, но без упрямства:

– Это обет.

Она поняла сразу. Не спутала со словом «обед». Но удивилась:

– Разве такие бывают? Не слыхала.

Я не поленился, сходил в сарай. Там на полке со всяким хламом лежали несколько подшивок старинного журнала «Нива». Я принес тяжеленный том. Открыл посередине. Там была картинка.

В бедной, с каменными стенами и окном-щелью, церкви стоял перед иконой мужчина. Длинноволосый, в жилете со шнуровкой, в таких же, как у меня, штанах с пуговицами под коленками, в деревянных башмаках. За штаны рыбака цеплялась крошечная девочка в чепце с оборками и в платье до пола. Видимо, дело происходило в давние времена в какой-то голландской или французской деревне. Мужчина был, скорее всего, рыбак. Он держал очень красивую модель корабля. Протягивал ее к иконе. Кто на иконе, было не видеть, только край и лампада. А кораблик был различим до каждой мелочи: все узоры на корме, швы на парусах, крошечные блоки, лесенки-снасти...

Эльза Оттовна чуть улыбнулась:

– И ты считаешь, что «обет» – это род парусника? Вроде брига или шлюпа?

Именно так я считал. Рыбак сделал кораблик на радость дочке и для украшения своего бедного дома. И принес в церковь, чтобы освятить его. Я знал, что в прежние времена был обычай освящать всякую готовую работу: брызгать святой водой и говорить молитвы...

Эльза Оттовна очень мягко сказала:

– Здесь, Петя, дело обстоит не совсем так. Картина называется «Обет», потому что здесь обещание. Клятва Богу... Наверно, этот моряк попал в страшный шторм и пообещал Спасителю и Богородице, что, если вернется невредимым, сделает красивый кораблик и поставит его перед образом в церкви. Так было принято...

Я почти не смутился. После всего, что случилось, какое значение имела моя ошибка... Но я задумался на минуту. Что-то досадное почудилось мне в таком обычае. Словно торговля какая-то!

Ты меня спаси, а я тебе за это кораблик... Конечно, когда для жизни жуткая опасность, что угодно пообещаешь. А лучше бы подарил заранее...

Я спросил, подавив неловкость:

– А бывает обет, чтобы наоборот? Ну, чтобы не в уплату за какую-то милость, а просто так?...

Точнее выразиться я не умел. А думал вот что. Если человек верит в Бога (я-то не верил, но сейчас речь не обо мне, а вообще), то он должен делать ему что-то хорошее не ради выгоды, а просто так, из любви. Чтобы радовать его... Хотя, с другой стороны, зачем Богу и его Сыну и Божьей Матери игрушечный кораблик? Ведь им стоит лишь пожелать – и появятся миллионы всяких кораблей, хоть из чистого золота... Да, но ведь маме, если по правде говорить, тоже не нужны были картонные домики, которые я склеивал и раскрашивал к ее дню рождения и к Восьмому марта. А она все равно радовалась. Потому что подарок, потому что я для нее старался. Потому что основное в подарке... любовь. Да...

И Эльза Оттовна, кажется, опять поняла меня.

– Конечно, можно и так, Петя... Главное, когда от души... – Потом снова спросила со вздохом: – Ну, а как же с хором-то, а?

Я вновь ожесточился.

– Не знаю... Никак. Без галстука я на сцену не выйду.

– Я тебя понимаю... Но и ты пойми. И тебе плохо без хора, и нам без тебя плохо...

– Я тоже понимаю... – И опять я отвел намокшие глаза.

– Видишь, оба понимаем друг друга. А договориться не можем... Будто идем разными параллельными тропинками, а сойтись не получается.

– Потому что параллельные не пересекаются...

– Иногда, Петя, пересекаются.

– Ну, это только в бесконечности. Не в нашем мире.

– О! Ты знаешь и это? Слышал про геометрию Лобачевского?

Я слышал. От соседки Насти... Она была худая очкастая отличница и хотела сделаться математиком. Но тот наш разговор начался не с математики. Несмотря на свою серьезность,

Настя, как мальчишка, увлекалась марками. Мы иногда вместе разглядывали свои коллекции, менялись и даже спорили. И вот я увидел у нее серую марку с незнакомым портретом и подписью: *Н. И. Лобачевский*.

– Это кто? Моряк?

– Это ученый.

– А почему в мундире?

– В старые времена в университетах профессора носили мундиры... Он знаменитый математик. У него труд есть «Теория параллельных линий», я недавно читала.

Я хихикнул:

– Чего там про них сочинять-то, про параллельные линии?

– А ты что про них знаешь?

Геометрию я, конечно, еще не учил, но про параллельные знал из книжек.

– Это такие, которые тянутся рядом друг с дружкой. На одинаковом расстоянии, как рельсы. И нигде не пересекаются. – И я вспомнил, как мы в прошлом году с мамой ходили в ближний лес за грибами.

– А вот и пересекаются! – торжественно заявила Настя.

– Врешь! Тогда они, значит, не параллельные!

– Ты рассуждаешь с точки зрения Эвклида. А у Лобачевского своя наука. Параллельные могут пересекаться, только очень далеко, в самой бесконечной бесконечности, где искривляется пространство.

– Как это?

Она стала объяснять и, по-моему, запуталась сама. И я, конечно, ничего не понял. Но поверил. Показалось, будто уловил что-то. Потому что вспомнил: рельсы ведь тоже соединялись в одну точку – далеко-далеко, у горизонта, когда их догонял взгляд. Взгляд – это когда глаз ловит прилетевшие издалика лучи света. От той точки, где соединились рельсы. А если приближаешься, они раздвигаются. И ты видишь это, потому что свет опять прилетает к тебе. Со своей сумасшедшей скоростью... Говорят, эту скорость никак-никак никому не обогнать, закон такой есть научный. Ну, а если представить, что все же обогнал! Примчатся к точке, где соединились рельсы, быстрее света! Тогда они, значит, не успеют разойтись! И получится, что параллельные сошлись!..

Конечно, я не знал тогда, что этот ребячий бред, этот крошечный проблеск догадки – первый атом в громадной пирамиде теории межпространственного вакуума. Той самой, на базе которой создана «Игла», прошивающая теперь многомерные миры... Тогда я сказал Насте: «Ладно, я пойду» – и ушел поскорее, потому что главным в моих мыслях было в тот момент все же воспоминание о маме: как мы идем вдвоем по рельсовому пути. Впрочем, и сейчас, в разговоре с Эльзой, тоже...

Я сказал сумрачно:

– Пускай хоть какая геометрия... а без галстука петь не буду. Я... себе слово дал. – Это я лишь сию секунду выдумал, но, чтобы отрезать все пути, сказал тут же мысленно: «Честное орлёнское».

– Вот, выходит, как. Значит, обет дал такой?

Я уклончиво промолчал: при чем тут это? Но...

может, и правда обет. Не только себе самому обещание, но и... Вспомнился подвал, доска с жестяными нимбами. Вот так все сплелось в жизни.

– Ну, а ко мне-то зайдешь в гости? – спросила Эльза Оттовна.

– Ладно, – прошептал я.

Она ушла. А я нашел среди дров другой кусок сосновой коры, большой и плотный, и стал вырезать новый кораблик.

Я мастерил модель все следующие дни. Даже тогда, когда зубрил билеты для экзаменов по русскому языку и устной арифметике. В школе никто меня больше не трогал. Экзамены я сдал средне: письменные на четверки, устные на тройки. Но это не из-за придинок, просто я всегда так учился. Тетушка из-за троек разворчалась и опять упомянула про детдом. Скорее всего, просто пугала. Но мне уже было все равно. Я твердо знал, *что* будет скоро.

Через несколько дней доделаю кораблик и унесу *туда*. Это будет мой подарок, мое прощание. И просьба помочь мне в пути... Ну и что же, что не верю? Мама-то верила. Значит, есть какая-то сила и справедливость... А потом – в дорогу.

До города Дмитрова (я посчитал по карте) полторы тысячи километров. Если шагать по шпалам пятнадцать километров каждый день, понадобится сто дней. Лето и кусочек сентября. В такую пору ночевать можно где придется и топтать налегке. А иногда можно ехать и на попутных товарняках. Про это немало книжек и кино. Добрые люди на пути всегда устоят куском хлеба, не дадут пропасть мальчишке... А то, что догонит и поймает милиция, – это сказки. Разве отыщешь маленького пацана среди пространств громадной страны?

Как меня встретит отец, я не очень задумывался. Наверно, не прогонит. Сам же написал тогда: «Сын ведь...» Да и вообще конечная цель представлялась мне такой далекой... ну, как бесконечно удаленная точка, где сходятся параллельные линии. Главным делом казалась мне теперь сама Дорога – с ее неожиданностями, встречами, новыми местами, приключениями. Я понимал, конечно, что порой придется нелегко. И тогда

Помоги одолеть мне
И жажду, и голод, и боль...

Ничего, одолею...

Теперь странным кажется, что не появилась у меня простая мысль: написать отцу. Нет, я ничего не боялся, просто в голову такое не приходило. Наверно, это странности мальчишечьей психики. Не думал я и о том, что отец много раз мог сменить адрес; ведь письмо-то он прислал в сорок шестом, а сейчас на дворе был пятидесятый...

Спокойно и как-то просветленно готовился я в путь. Заранее уложил в портфель сухари, полотенце, запасные майку и трусы, кружку, ножик, туго свернутую суконную курточку. И любимую, мамой подаренную книжку «Пять недель на воздушном шаре». В эти дни я старался быть послушным, с тетей Глашей вовсе не спорил. Не потому что вдруг полюбил ее, а словно чувствовал: незачем брать с собой груз всяких обид и грехов, даже мелких.

Зашел как-то к Эльзе Оттовне, но соседка сказала, что она хворает, сейчас уснула и тревожить ее не надо.

Вальке Сапегину я отдал на память свою коллекцию марок. Объяснил, что наскучило собирать их. А о предстоящей Дороге не сказал, конечно. Валька, он хороший, но, когда начнут искать, не выдержит, расскажет. Хотя бы для того, чтобы опять увидеться со мной.

Потом я отыскал Турунчика и подарил ему свой оловянный пистолет. Очень Турунчик удивился, заморгал белесыми ресницами. Никогда ведь мы не были друзьями.

– Спасибо... А почему ты... мне?

– Нипочему. Так... – вздохнул я.

Чувствовал, что виноват перед ним. Даже не только перед ним, а вообще. И этот грех (пожалуй, самый крупный в своей жизни) мне тоже не хотелось уносить с собой.

Как хорошо все-таки, что я тогда не успел ударить его...

В классах – особенно там, где одни мальчишки, – часто бывает по два командира. Один – какой-нибудь образцово-показательный активист, назначенный школьным начальством в председатели или старосты. Другой – ребячий император, утверждающий свою власть креп-

кими кулаками и презрением к школьным порядкам. Чаще всего это амбал-второгодник. Но в нашем классе амбала не было, и Ким Блескунов успешно верховодил всюду. И на пионерских сборах умело командовал, и в тех делах, которые не нравились учителям. При этом всегда оставался уверенным в себе, спокойным и яснолицым, как мальчик с плаката «Отличная учеба – подарок Родине».

Он-то и приговорил Турунчика к публичный казни.

Дело было в конце сентября. Мишка Rogozin и Нохря перед уроком рисования натерли классную доску парафиновой свечкой – фокус известный: мел скользит, следов не оставляет. Конечно, крик, скандал: «Кто это сделал?!» Два дня разбирались, и завуч наконец как-то вывела про виновников. Ну, досталось им, как водится, и в школе, и дома...

И кто-то пустил слух, что наябедничал завучихе Юрка Турунов. Не знаю, почему так решили. Может, потому, что за день до этой истории Нохря довел Турунчика до слез, и у кого-то появилась мысль: он, мол, в отместку заложил Нохрю. А может, просто потому, что был Турунчик робкий и безответный.

Конечно, он беспомощно мигал и бормотал:

– Да вы чего?... Я никому... Меня даже не спрашивали...

Но от этого уверенность в его вине только крепла.

Коллектив – большая сила, и для пущего единения нужно ему общее дело. А если нет дела, то хотя бы – общий враг. Кимка внес в это настроение конкретность:

– Завтра после уроков будем Турунчика бить.

Все шумно поддержали его.

Только Илюшка Сажин сказал:

– Все на одного? Так нельзя.

– Нельзя, если честная драка, – разъяснил Блеску нов. – А тут не драка, а наказание. Фискалов били сообща во все времена – книжки читать надо...

Кимка назначил для исполнения приговора «бригаду». Десять человек.

– Ты... Ты... И... – он глянул на меня, – ты, Патефон. А то одно только знаешь: хор да хор, совсем оторвался от класса.

Почему я согласился? Мало того, даже обрадовался.

На следующий день мы зорко следили, чтобы Турунчик не сбежал. А после уроков повели его в дальний угол двора, за длинное здание мастерской. Турунчик похныкивал и упирался, но очень вяло: видать, совсем обмяк от страха.

За мастерской торчал высохший тополь, который завхоз дядя Гриша не успел еще спилить на дрова. Кимка распоряжался спокойно и обдуманно, только слегка раздумываясь. Турунчика заставили обнять корявый толстый ствол. Суетливо связали приговоренному кисти рук снятым с него же чулком. Я держался в сторонке, ощущая незнакомое до той поры замирание – смесь боязни и стыдливого сладковатого любопытства. Турунчик молчал, только часто переступал рыжим брезентовым полуботинком и босой, голой до колена ногой.

Блескунов достал из новенького портфеля орудие возмездия. Это была велосипедная камера – сложенная вдвое, слегка надутая и перевязанная в нескольких местах.

– У, мягкая! – сказал Нохря. – Такой не больно.

– Нет, почему же, – возразил Кимка. – Довольно чувствительно, если по открытой спине. На себе попробовал... – И добавил со значением: – К тому же в наказании главное не суровость, а неизбежность. – Наверно, он повторял слова своего милицейского папы. – Ну-ка, задержите на нем...

Турунчик был в хлопчатобумажном полинялом свитере сизого цвета – широком и обвисшем. Свитер легко задрали выше лопаток. А майка никак не выдергивалась из штанов.

– Расстегнуть надо, – решил Нохря. Сунул пальцы между Турунчиком и деревом, зашарил. – Где там у тебя пуговица?...

Он возился, и все молчали, только сопенье было слышно.

Турунчик вдруг сказал сбивчивым полусшепотом:

– Да не там... Сбоку пуговица...

Что это он? От собственной виноватости впал в окончательную покорность? Или просто хотел, чтобы скорее все кончилось?

Майку тоже вздернули почти до шеи и велели держать Валерке Котикову – маленькому и послушному. Турунчик прижался к дереву, чтобы не съехали расстегнутые штаны. Блескунов размахнулся и огрел его камерой с упругим резиновым звоном.

Турунчик дернулся, помолчал секунду и осторожно сказал:

– Ай...

– Конечно, «ай», – согласился Кимка. – И еще будет «ай». А ты как думал? – Он протянул черную «колбасу» Нохре: – Теперь ты. Надо, чтобы каждый по разу.

Шумно дыша, полез вперед Гаврилов:

– Я следующий... Можно, я еще за Котика, а то он не сумеет? А я хочу...

Меня обволакивала обморочная слабость. Но – вот ведь какая гнусность! – я тоже... хотел. Понимал в глубине души, какое это грязное дело, но щекочущее желание было сильнее – стегнуть с оттяжкой по тощенькой белой (не загорал он летом, что ли?) спине с глубоким желобком и черными зернышками-родинками. Злости на Турунчика у меня не было ни малейшей, и, чтобы оправдать себя, я мысленно повторял: «Он же сам виноват... Он же сам виноват...»

Нохря тоже ударил. Турунчик опять дернул спиной, но промолчал. В резину вцепился Гаврилов... И в этот миг я услышал тяжелый топот. Несколько старшеклассников стремительно выскочили из-за мастерской, и впереди – Игорь Яшкин, известный в школе футболист и художник. Я первый оказался у него на пути. Голова моя как бы взорвалась белыми искрами от оглушительной оплеухи. Я покатился в пыль, был поднят за шиворот и упругим пинком отправлен в колючие сорняки у забора. Сквозь них, пригибаясь, я добежал до школьной калитки и потом еще квартал мчался по переулку. Отсиделся только в сквере у городского театра.

... Горела щека, гудело награжденное пинком место. Мелко тряслись колени. И все же... все же сквозь страх и стыд, сквозь обиду на Яшкина я чувствовал растущее облегчение.

Я словно очнулся. До чего же хорошо, что я не *успел*! Вовремя данная благодатная затрешина встряхнула мне душу и все расставила в ней на нужные места. Уже и обиды на Яшкина не было. Только отвращение к себе. И ко всему, что мы затеяли *там*. Какое счастье, что мой портфель на шнурке через плечо, – я умчался вместе с ним. Возвращаться сейчас туда, за мастерскую, было бы выше сил...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.